

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
М Е М У А Р Ы

Райнер Роме

В СОВЕТСКОМ ПЛЕНУ



**СВИДЕТЕЛЬСТВА ЗАКЛЮЧЕННОГО,
ОБВИНЕННОГО В ШПИОНАЖЕ**

1939—1945

За линией фронта. Мемуары

Райнер Роме

**В советском плену. Свидетельства
заключенного, обвиненного
в шпионаже. 1939–1945**

«Центрполиграф»

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2) 622.5

Роме Р.

В советском плену. Свидетельства заключенного, обвиненного в шпионаже. 1939–1945 / Р. Роме — «Центрполиграф», — (За линией фронта. Мемуары)

ISBN 978-5-9524-5579-5

Райнер Роме не был солдатом вермахта, и все же Вторая мировая война предъявила ему свой счет: в 1945 г. в Маньчжурии он был арестован советской разведслужбой по подозрению в шпионаже против СССР. После нескольких месяцев тюрьмы Роме оказывается среди тех, кто напрямую причастен к преступлениям фашистской Германии — в лагере для немецких военнопленных. В своих воспоминаниях Роме описывает лагерное существование арестантов: тяжелый труд, лишения, тоску по родине, но эти подробности вряд ли поразят отечественного читателя, которому отлично известно, в каких условиях содержались узники немецких лагерей смерти. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2) 622.5

ISBN 978-5-9524-5579-5

© Роме Р.
© Центрполиграф

Содержание

Часть первая	6
Пролог	6
В застенках НКВД	9
«Малая тюрьма»	15
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Райнер Роме
В советском плену
Свидетельства заключенного,
обвиненного в шпионаже
1939–1945

Rohme Reiner

Die Marionetten des Herrn

ERLEBNISBERICHT AUS SOWJETISCHEN EFANGENENLAGERN

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2021

© Художественное оформление серии, ЗАО «Центрполиграф», 2021

Часть первая

Но там, где угроза, растет и спаситель.
Ф. Гёльдерлин

Пролог

Это произошло ранним утром 8 августа 1945 года. Я сидел у своего дома на окраине Дайрена, большого города Маньчжурии, глядя на морские суда в акватории большого порта. Багровое солнце, поднимаясь на утреннем небе, сияющими лучами озаряло голые скалы побережья. День начинался покойно, зеркальную гладь моря не тревожило ни малейшее дуновение ветерка.

Мыслями я был на родине. Доходившие оттуда скудные известия потрясали и обескураживали. Шесть лет кровопролитной войны, а в результате – превращенные в руины города и села, безоговорочная капитуляция. Родина как таковая перестала существовать, все, кто был под ее защитой, тоже. Оставалась лишь страна, обезоруженная и обесцеленная, отданная на поругание врагу.

Воображение рисовало безрадостные картины. После капитуляции Германии в обозримом будущем следовало ожидать судьбоносных событий и здесь, на Дальнем Востоке. Участь поверженной Германии ожидала и Японию, балансировавшую на грани краха. А какова будет с ее падением наша участь? Вероятно, мы разделим ее со всеми ныне презираемыми немцами. Уже теперь японцы относились к нам весьма холодно. Они не могли простить немцам того, что вторжение Германии в Россию грубейшим образом нарушало общие стратегические цели двух государств, а факт безоговорочной капитуляции Германии поставил последнюю точку. Власти блокировали наши банковские авуары, объявив их имуществом враждебной державы, лишив нас, таким образом, права свободно распоряжаться своим имуществом. И все же мы были уверены, что на крайние меры японцы не отважатся. Мы знали их как нацию людей культурных, воспитанных на самурайских традициях великодушия к противнику. Даже оккупацию города американскими войсками мы не воспринимали как угрозу нашему существованию. Германо-американские боевые действия завершились, и они не станут возлагать ответственность за войну на горстку безоружных и не отрицающих своей вины людей.

Но зловещим облаком над нами нависала другая опасность. Япония все еще поддерживала «дружеские отношения» с Россией. Эти отношения, продиктованные необходимостью, испокон веку насквозь пропитанные глубочайшим взаимным недоверием и скрытой враждебностью, не были ничем иным, как разновидностью холодной войны. Часть немцев, экономически обеспеченных людей, невзирая на запреты все же пытались пробраться в южную часть Китая. Другие же считали, что русские не обратят на них внимания, в худшем случае отправят в Германию, что вполне соответствовало их желаниям и намерениям. Большинству немцев только и оставалось, что мучиться страхами, ждать и надеяться.

Жена трясущимися руками подала мне утреннюю газету. Произошло нечто ужасное. Жирным шрифтом было напечатано: русские бомбардировщики над Харбином. Ввод русских дивизий в Маньчжурию. Ожесточенные бои по всему фронту.

Драма переживала кульминацию. Японские войска маршировали по улицам. Но в течение нескольких дней картина разительно переменилась. Сооружались баррикады. В городе объявили военное положение. Уличное движение было парализовано. Армия русских нанесла удар под Мукденом, вынудив японцев к отступлению. Император Маньчжурии взят в плен русскими. Население за закрытыми окнами дожидалось прихода врага.

Потом в газетах сообщили о сброшенных на Хиросиму и Нагасаки атомных бомбах.

15 августа стало днем перемирия по причине всеобщей капитуляции. Вскоре в Дайрен вошли первые части русских. 23 августа в 5 часов утра русские солдаты прикладами автоматов стали молотить в дверь, требуя впустить их. Я, в халате, отпер им дверь.

– Вы писатель доктор Райнер Роме? – спросили меня.

– Да, это я.

– Тогда одевайтесь поскорее и следуйте за нами.

Еще не проснувшись толком, я спросил:

– А что от меня требуется?

– Вы нужны для краткого допроса, – объяснил лейтенант, старший группы солдат. – С собой брать ничего не нужно, через пару часов вы вернетесь.

Я торопливо возвращаюсь в спальню и одеваюсь. Тут же моя жена с нашим младшим сыном. Спросонок двухлетний малыш смотрит на свою спящую в кроватке сестренку и повторяет «Айки! Айки».

«Айки» явно испуганно смотрит на меня. Одиннадцатилетняя девочка уже понимает весь трагизм ситуации, не зная, как себя повести. Она смущенно улыбается. Потом я нежно целую ее в лоб. Последний поцелуй.

– Что они с тобой сделают? – спрашивает жена.

В ответ я пожимаю плечами:

– Говорят, что через два часа отпустят. Так что придется подождать. А могут и расстрелять. Сейчас нужно быть готовым ко всему.

Я решительно высвобождаюсь из объятий любимой жены и открываю дверь. Она захлопывает ее за мной. У дома вижу стоящий грузовик. Сажусь в него. На кузове уже много немцев, и мне помогают забраться. Последний взгляд назад, и мы уже сворачиваем на главную улицу.

Через два часа меня должны отпустить. Но я оказываюсь в тюрьме. Там нас рассортировывают. Я попадаю в большую камеру, где уже полно народу – японцы, китайцы, русские эмигранты. Всех их доставили сюда из полиции Дайрена, японской военной миссии и из других учреждений.

Растянувшись на деревянных нарах, мы ждем своей участи. Люди почти не разговаривают друг с другом. Мне в голову лезет всякое, а времени на обдумывание того, что произошло, более чем достаточно.

Что будет с моей семьей? Дома ли еще жена и дети, или их тоже взяли? Куда нас отправят? На что мы будем жить? У жены еще оставались деньги и ювелирные изделия. Но о русских рассказывают дурные вещи. Они все у нее отберут еще до того, как выведут из дома. И тогда женщина окажется в чужом мире без средств к существованию. И это при условии, что русские не преподнесут ей сюрприз похуже. Неужели и жену бросят в тюрьму? А что тогда будет с детьми? Умрут с голоду или превратятся в бродяжек, или, может, русские возьмут их к себе и воспитают из них большевиков? Или Всевышний будет так милостив и ниспошлет им заступников, имена которых мне не известны?

Пока я лежал на нарах, мне стало ясно, что человек подобен ореховой скорлупке, оказавшейся в штормовом море. Мы отданы на милость сил своих и убеждены, что вытесаны из крепкого камня. Но фортуне достаточно пальцем пошевелить, и все наши иллюзии пойдут прахом, а она распорядится по-своему. Все, что человек способен сделать, причем с успехом, ради благополучия своей семьи, ради защиты ее от жизненных невзгод, он уже сделал. Все возможности были учтены и приняты во внимание. Я не сомневался, что не произойдет ничего серьезного, что в любом случае для меня существуют хоть какие-то гарантии безопасности. И что из этого вышло?

Я даже был лишен возможности вступить в борьбу за эти гарантии. Все рухнуло как карточный домик. Не осталось ничего, я не мог даже позаботиться о своей жене. Узнать о ее дальнейшей судьбе и то не мог. Оставалось лишь думать и гадать, что ждет их впереди.

Но судьбе, видимо, и этого было мало. Худшее уже ломилось в дверь, оно было рядом, в тюремном коридоре. Дверь камеры распахнулась, и в нее втолкнули японца, моего давнего знакомого. Он работал в директорате полиции.

С улыбкой он приветствовал меня и еще издали крикнул:

– Я только что видел вашу жену!

Мою жену!

– Где вы видели мою жену? – уточнил я, переполненный самыми дурными предчувствиями.

– Я проходил мимо ее камеры, – стал рассказывать он, словно речь шла о чем-то обыденном. – Она стояла у решетки и помахала мне рукой.

– Она была с детьми?

Я изо всех сил старался не потерять самообладания и не грохнуться в обморок.

– Нет, детей с ней не было.

– А вы не могли ошибиться? Это на самом деле была моя жена?

Мой знакомый японец улыбнулся.

– Ну, я же хорошо знаю вашу жену. И в гостях у вас бывал. Да, да, это была точно она.

Я не мог больше говорить. Это был конец. Наихудшее стало явью. Мой мир, создаваемый мною и составлявший мою жизнь, рухнул. Теперь я ощущал лишь одно желание: плыть по течению, отдаться на волю судьбы, что бы она мне ни уготовила. Может, я уже и стоял на самом краю. Может, уже завтра я с простреленной головой буду валяться в какой-нибудь канаве. Каким всеобъемлющим в те часы явилось мне осознание всей мирской тщеты и суетности, всей ее бренности и бессмысленности, неуправляемости высшими силами, безгранично повелевающими над судьбами людскими, не испрашивая у них желания подчиниться! Но в своем сердце я не ощутил при этом ни следа отчаяния. Ярким лучом воссияла во мне вера в то, что даже наихудшая из трагедий, выпавшая мне и дорогим мне людям, есть путь к триумфу благого.

Мне вспомнилось мудрейшее изречение страдальца Иовы: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» Сподоблюсь ли я возыметь силу таким же образом воспринять свою жизнь?

Иова, с честью выдержав испытание, был щедро вознагражден Господом, и не только небесными, но и земными благами. Я же не усматривал перспективы подобного финала. Да и сам Иова в начале пути и думать не мог ни о чем подобном. Смысл и ценность принесенной им жертвы оказались бы в таком случае обесценены. Именно неизбежность жертвы и составляла главную ценность, именно она и придавала ему энергии для преодоления. Только она наделяла его силами не дать захлестнуть себя скорби об утраченном и, не будучи отягощенным заботами, видеть встававшие перед ним задачи и преодолевать их.

Пытаясь обрести контроль над собой, размышляя об этом, я вспомнил и Даниила в львином рву. Ни один волос не упал с его головы, когда он оказался в гуще ужасных тварей, ибо он ни на мгновение не утратил несокрушимое доверие к ведомой его благой высшей силе. Ждал Даниил, что Бог избавит его, или нет, это ничего не меняло в его вере. Прежде всего, он думал о своей верности Богу. И сам я тоже возжаждал обрести безграничное доверие и до самого конца всегда и во всем держаться за него.

В застенках НКВД

На следующий день мы впервые получили паяк. Буханку хлеба на шестерых и мисочку отваренного маньчжурского пшена. Ну и горячей воды. Так мы прожили десять дней. Однажды меня вытащили из камеры. В небольшой комнатенке сидел старший лейтенант НКВД. Он взял мои документы и, в конце концов, потребовал перечислить имена моих «агентов». Когда я, не скрывая изумления, спросил его, что он вообще имеет в виду, он с улыбкой пояснил, что, мол, о моей деятельности уже давно и в достаточной мере подробно известно. Я, дескать, руководитель разветвленной шпионской организации. Вопреки всем клятвам и заверениям в том, что задачи мои лежали совершенно в другой области, старший лейтенант излагал свою версию: общеизвестно, что находившиеся за пределами Германии немцы шпионили в пользу своей страны. Поскольку я изначально категорически отрицал все им изложенное, старший лейтенант перешел к грубости. Когда и это не помогло, он с весьма недовольным видом все же отпустил меня.

На следующий день последовал новый допрос. На сей раз меня допрашивал уже другой старший лейтенант, несколько суетливый, хорошо говоривший по-немецки. В отличие от своего коллеги он в ходе допроса оставался вежливым и даже любезным и пытался объяснить мне, что откровенное и чистосердечное признание послужит мне лишь во благо и будет способствовать моему скорейшему освобождению. Он мог прийти с бутылкой хорошего вина и распить ее со мной ради достижения взаимопонимания. Когда я вежливо отказался и тоже не смог сказать ничего, что в положительную сторону переломило бы ход допроса, он отпустил меня с дружелюбной улыбкой, пожелав мне на прощание еще раз хорошенько все обдумать. И я довольно скоро пришел к «решению», что это на самом деле было дружеским советом. Что же касалось его, он всегда был готов и впредь обсудить нашу тему. Стоило мне только попросить позвать его.

Два дня спустя, пока я не обратился с такой просьбой, меня выволокли из камеры и на машине доставили в здание Главного управления полиции, где между тем НКВД устроил свою штаб-квартиру. В подвале было множество камер. Меня впахнули в одну из таких камер, где я оказался в обществе восьмерых русских эмигрантов, ожидавших допросов особого порядка. Посреди ночи меня разбудили и отвели на второй этаж. В обширном и прекрасно меблированном служебном помещении меня принял подполковник при полном параде. За его спиной стояли оба офицера, которые меня допрашивали. Тоже при полном параде. Здесь явно должно было состояться нечто торжественное.

Дружелюбно настроенный следователь взял на себя функции переводчика, подполковник, начальник НКВД в Дайрене, намеревался в моих интересах побеседовать со мной в присутствии двух своих подчиненных.

– Вероятно, вы считаете, – заговорил переводчик, сурово наморщив лоб, – что будет вполне достаточно, если вы скажете, мол, я ни о чем не подозревал. Похоже, вы думаете, что русским можно зубы заговаривать. Они, дескать, недотепы и вообще ничего не понимают. Но на этот счет вы сильно заблуждаетесь. Да, да, сильно заблуждаетесь! Нам известно больше, чем вам кажется. И мы располагаем соответствующими средствами, чтобы добиться от вас признания. Если вы и дальше будете запыряться, утверждает господин подполковник, то он даст указания применить эти средства в полной мере, не обращая внимания на вашу реакцию и самочувствие.

Дружелюбно настроенный следователь склонил голову с хорошо разыгранной озабоченностью на лице чуть набок и продолжил певучим и проникновенным тоном, а в его черных глазах читалось предостережение:

– И вот тогда вы заплачете! Тогда вы точно досыта наплачетесь!

Еще до конца не войдя в отведенную мне роль, я забыл сдерживать ироническую улыбку – мол, можете и дальше запугивать, все равно не поддамся. Начальник НКВД воспринял это с видимым неудовольствием и в довольно резких выражениях, о смысле которых я мог лишь догадываться, перебил дружелюбно настроенного старшего лейтенанта, который, судя по всему, намеревался распинаться в том же духе. Дружелюбно настроенный следователь, насколько я понял, сказал ему в ответ что-то колкое.

Казалось, попытка начальника оказать на меня психологическое давление не совсем удалась. Обменявшись еще парой слов с коллегами, начальник вновь обратился ко мне:

– Господин старший лейтенант рекомендует вам сказать следующее: НКВД стали в полном объеме доступны материалы, свидетельствующие о вашей шпионской деятельности. Выяснилось, что хвост вашей агентуры тянется не только в Харбин и Жинкин, но и в Шанхай, да что говорить, даже в Корею и Японию. Все ваши агенты находятся под контролем НКВД. Те, на след которых мы пока не успели напасть, были выданы нам их же сообщниками. Все признались, все признательные протоколы подписаны.

И, взяв со стола одну из папок, демонстративно помахал ею. Рядом с этой папкой лежал внушительных размеров пистолет. Он был настолько большим, что раньше я ничего подобного не видел, разве что в музее. Начальник НКВД, взяв в руку пистолет, пристально разглядел его, потом снова положил на место.

Далее дружелюбно настроенный следователь объяснил мне, что начальник НКВД ожидает от меня добровольного и полного признания. Продолжать отрицать что-либо просто не имеет смысла. В принципе, НКВД не так уж и желает моего признания. Все равно все необходимые доказательства собраны. Но начальник НКВД хочет, чтобы это произошло по моей воле, потому что этот поступок в решающей мере повлияет на мою дальнейшую судьбу. Начальник НКВД в этом случае подумает, а не дать ли возможность моей семье, кстати, она находится здесь же, – тут он сделал паузу, чтобы я мог осмыслить всю важность сказанного, – и продолжил – выехать в Германию. Заниматься мною или моей семьей – тут последовала еще одна многозначительная пауза – вообще не в его интересах. Самое важное для него – мое признание, потому что именно оно дает представление об одной из разведывательных организаций навеки исчезнувшего германского рейха.

И тут начальник НКВД снова схватился за пистолет, пару секунд как бы играя: то снимал его с предохранителя, то снова ставил. Его физиономия здорово помрачнела. И если я рассчитываю, переводил дальше дружелюбно настроенный следователь, и дальше запираюсь и играть на его добросердечии, то сильно ошибаюсь. Пистолет не случайно находится здесь на столе. Он останется здесь и тогда, когда начальник НКВД вновь вызовет меня, а сейчас я могу отправляться в свою камеру и там еще раз хорошенько все обдумать. Два часа спустя он снова вызовет меня на второй этаж, и мне надо будет всего лишь на листке бумаги написать все интересующие нас фамилии. Но если я и тогда откажусь это сделать, начальник НКВД лично расстреляет меня вот из этого самого пистолета.

Я подумал, что готов к серьезному высказыванию, и детально объяснил начальнику НКВД, что в шпионаже не замешан и никакой агентурой не располагаю. Кстати, я уже протокольно заявил об этом его обоим подчиненным. Если он стремится внушить мне, что «весь хвост агентуры» уже в его руках, что меня должно перепугать до смерти, то я могу из его слов заключить лишь одно: он сильно на мой счет заблуждается. И если он намерен осуществить свою угрозу, то не лучше ли будет сделать это прямо сейчас, благо оружие рядом. Потому что и через два часа я скажу то же самое. И сейчас я в таком состоянии, что страха смерти уже не испытываю.

После этого три офицера недолго о чем-то совещались. Потом дружелюбно настроенный следователь вызвал находившегося в коридоре охранника и передал меня ему. Вернувшись

в камеру, я провалился в глубокий, тяжелый сон, после которого очнулся лишь утром, когда заключенным раздавали хлеб.

Прошло четырнадцать дней. Казалось, обо мне забыли. Но однажды меня внезапно вывели из камеры, привезли на машине в аэропорт и на военно-транспортном самолете вместе с другими заключенными отправили в Советский Союз.

Сопровождал меня дружелюбно настроенный следователь. Кроме нас, на полу стояли какие-то ящики. При загрузке один из таких ящиков упал, крышка отвалилась, и я, к своему немалому удивлению, увидел рассыпавшиеся серебряные ложки с монограммами, причем это были *мои* ложки. Судя по всему, часть драгоценностей, собранных мною в течение времени, оказалась в руках НКВД вместе с вещами других заключенных.

В Ворошиловске (Ставрополь), где располагался штаб советской армейской группы, самолет приземлился. Здесь русские собрали многие тысячи корейцев, японцев, китайцев и, в особенности, русских эмигрантов. Возник самый настоящий лагерь, в который прибывали и прибывали люди. Тысячи людей. Все городские здания были срочно переоборудованы под прием заключенных. Я попал в большой комплекс школьных строений. В этом скупо меблированном помещении были устроены небольшие ячейки – камеры на пять-шесть человек. Там вначале изолировали прибывших, чтобы потом удобнее и эффективнее было их допрашивать. Вот в такой же камере оказался и я.

Со мной поздоровались четверо японских офицеров. Среди них был и майор японской военной миссии. Его как раз доставили с допроса, он сидел, молча и опустив голову, в своем уголке. Несколько дней подряд его допрашивали, оказывали давление самыми недостойными методами. Он тоже должен был представить список агентуры в России, работавшей в его отделе под его руководством. Его случай был довольно серьезный, как заявил он мне, потому что сотрудникам военной миссии вменялся в обязанность сбор разведывательной информации. Многие их агенты попали к русским. Русский генеральный консулат в Харбине уже на протяжении длительного времени собирал компрометирующие сведения о них. В Харбине хватало всякого рода авантюристов, клеветников и торговцев человеческими душами, готовых отправить под нож любого, если только это возвышало их в глазах новых правителей.

Просто огульно отрицать все – подобный метод здесь не срабатывал. Русским ничего не стоило показать человека кому-нибудь из эмигрантов, работавших на него, и признание было готово. Получив признание в одном, сотрудники НКВД с помощью умных и в то же время достаточно жестоких методов без труда получали и другие. На допрашиваемого методично воздействовали день за днем, и в конце концов он признавался, и признание это становилось ключевым. Для меня начались тяжкие времена допросов, голода и раздумий. Здесь я встретился и с обоими моими первыми офицерами-следователями. Помещения для проведения допросов НКВД располагались в центре города. Ближе к вечеру по городу начинали курсировать небольшие грузовики, доставлявшие заключенных из одного лагеря в другой, из одной тюрьмы в другую. Камеры были намеренно тесными, в них умещался лишь один человек, но нередко туда умудрялись впихивать и двоих. Люди были прижаты друг к другу, не в силах и шевельнуться. Ехать на грузовиках приходилось стоя, длилось это иногда часа по четыре – машина должна была сделать несколько ходок, пока останавливалась у здания НКВД. Многие не имели возможности отправлять естественные потребности. Тюремное питание состояло из водянистой похлебки, а вследствие многодневного лежания на голом холодном цементном полу многие заключенные начинали страдать заболеваниями почек и мочевого пузыря или обострениями уже имевшихся болезней. Но никто и не думал о предоставлении нам медицинской помощи. Напротив: когда я на одном из допросов задал вопрос о болезнях заключенных, один из комиссаров, криво улыбаясь, ответил, что я, дескать, быстро окажусь в «положенном месте» за такие вопросы. Каждый из многочисленных комиссаров на ночь вызывал к себе по два-три человека

на допрос. Днем допросов почти не было, разве что в порядке исключения. Главная работа начиналась часов в девять вечера. А последних узников отпускали в камеру уже на рассвете. Допрос, в среднем, длился два-три часа, но иногда и дольше. Перед допросом и после него заключенных собирали в небольшом здании, которое получило название «малая тюрьма».

Грузовик, доставлявший допрашиваемых, останавливался у здания НКВД часов в шесть-семь вечера. В нем было, как правило, восемь – десять человек, но иногда и вдвое больше. Их запикивали в камеру, в которой они могли только стоять.

Иногда нам давали возможность спать на железных койках, что было намного комфортнее. Даже просто сидеть на них и то было удобнее в сравнении с многочасовым стоянием. Если ко времени прибытия с допроса темнело, приходилось, войдя в камеру, пробираться к койке на ощупь. Света в «маленькой тюрьме» не было, разве что для тех, кто находился там постоянно. Тем было намного легче, мы же, привозимые сюда на допросы, ночи напролет страдали в темноте.

Это тоже было частью тактики разрушения человеческой психики. Простоишь часиков пять перед допросом в темноте, и уже не так болезненно реагируешь и на оскорбления, и придирки, и на несправедливые обвинения сидящего в удобном кресле следователя.

Единственное, что нам позволялось и служило в какой-то мере отвлечением от ужасов, – это курение. Тот, у кого не оставалось ни крупички махорки, что бывало нередко, страдал неимоверно. Ни на чью отзывчивость рассчитывать не приходилось. Таков был железный закон джунглей советского правосудия. Тогда люди просто скручивали трубочки из бумаги и курили ее. Трава, напоминавшая полынь, тоже с успехом заменяла табак. Дымила и воняла она жутко, а в горле щипало до боли. Но именно это заметно уменьшало внутреннее беспокойство.

Именно это беспокойство, всеми известными современной науке средствами усугублявшееся, и отправляло в могилу многих, а кое-кого вынуждало признаваться в том, что сочинил их воспаленный мозг, и подписывать любые показания. «Признание», даже если изначально противоречивое, постоянно требовали комиссары от допрашиваемых, доводя их до такого состояния, когда сознание уже не способно объективно оценивать факты и заставляло поверить в собственную виновность. Ведь человек всегда готов поверить в то, что облегчит его участь, выведет из тупика, пусть даже это «признание» ничуть не соответствует действительности. А еще легче, если твое самоощущение личности, доверие к ней, человеческое достоинство поруганы посредством утонченных методов воздействия. Когда личность уже не способна к сопротивлению, она становится жертвой внушения того, кто тебя допрашивает.

На первом месте среди этих методов стояло физическое ослабление – хроническое недоедание, постоянный стресс. Физическое ослабление ведет к ослаблению психическому, это каждому ясно. Сюда следует прибавить и осознание беспредельного господства над тобой твоего мучителя, ни на секунду не ослабляющего давления на тебя. Весьма эффективным средством служит и периодическое напоминание допрашиваемому об участии его близких, находящихся или якобы находящихся в руках НКВД. Какому отцу семейства захочется перечить следователю, если это чревато муками его родных и близких? При каждой из угроз я чувствовал, как холодеет и замирает сердце, но заставлял себя лишь безучастно пожимать плечами.

Когда несчастная жертва соответствующим образом подготовлена, изувер начинает рисовать ей картины – миражи – ее освобождения из тюрьмы, причем даже с вознаграждением. Ведь это ничего не стоит – взять да признаться в том, что ему приписывают. Узник из имеющегося опыта знает, что подобные обещания ничего не стоят, однако, если давление достаточно сильное, это забывается, он намеренно вытесняет все разумное из сознания, и тут срабатывает биологический рефлекс целесообразности, который, как и любой рефлекс, срабатывает мгновенно, ничего общего с разумом не имея.

Комиссар с умом использует любую прореху, любую брешь во фронте самообороны допрашиваемого. Он запугивает его всеми возможными ужасами и бедами, вербальными и

материальными, на которые только может рассчитывать допрашиваемый. А под финал начинают звучать сладкозвучные упоминания о «гуманности» Советского Союза, который непременно проявит ее к тем, кто повернулся к нему лицом и доказал обретенную веру в него.

В камерах появляются разного рода сомнительные личности, охотно живописующие, как благородно к ним относятся новые власти, стоило им только во всем признаться, и демонстрируют остальным эти блага: двойную порцию хлеба, похлебки и каши.

Тут же возникают и субъекты, которые с помощью щедрых даров в виде табака и провизии, а также прибегая к псевдоантисоветской тональности втираются в доверие к наивной жертве. И жертвы рады после многочасовых издевательств в кабинете следователя увидеть перед собой человека, которому можно довериться и заодно выложить то, о чем умолчал на допросе у следователя.

Многообразны методы комиссарской работы, и они не ограничиваются исключительно давлением на психику допрашиваемого. Поскольку большинство немцев были в сильных неладах с русским языком, допросы, в основном, проходили через переводчика. Вот только протоколы составлялись на русском языке. В ответ на мое требование предоставить версию протокола на немецком языке комиссар ответил мне следующее: разумеется, это возможно, но не применяется, ибо требует больших затрат времени и сил. А допрашиваемый лишен права настоять на этом. Да и что это вам в голову взбрело? Вы ставите под сомнение честность наших работников? Считаете, что они только и думают, как обвести вас вокруг пальца?

Но дело было, разумеется, не в затратах времени и сил. В России время всегда потерпит. Бывало, что комиссары не жалели и часов, чтобы вытянуть из допрашиваемого одно-единственное слово. Но составление протокола на чужом для допрашиваемого языке давало возможность извратить содержание документа. Когда допрашиваемый подписывал протокол, ему только и оставалось, что уповать на устные заверения комиссара, да и даже этот перевод был отнюдь не всегда безупречен, а нередко и вовсе неверен. Вопросы, которых вообще не касались, или то, что категорически отрицалось допрашиваемым, намеренно опускалось. И потом уже на суде практически не оставалось возможности ни для опровержения заведомой лжи, ни для внесения тех или иных замечаний. Если же все-таки каким-то чудом такое происходило, то все неточности списывались на неуверенность или недопонимание допрашиваемого, и последний снова попадал в жернова комиссара, чтобы, в конце концов, вконец измучиться и признать не имевшее места.

Вот так прошло около двенадцати недель в Ворошиловске. И за все эти три месяца едва ли набралось несколько ночей, когда я имел возможность как следует выспаться.

Стресс, связанный с этим образом жизни, и хроническое недоедание, в конце концов, стали проявляться, и это меня отнюдь не радовало. Ноги опухли сначала до лодыжек, потом и до самых колен.

– Вода! – констатировал врач-японец, с которым мы находились в одной и той же камере. – Первый признак влажной дистрофии.

Вскоре симптомов недоедания стало больше. На бедрах, а потом и на пальцах и на руках образовались небольшие опухоли, быстро распространявшиеся и углублявшиеся. Нельзя сказать, что они были болезненными, но раздражали и тревожили.

Потом такие же опухоли появились и на телах других заключенных. Русские никакой медицинской помощи не оказывали. Время от времени появлялся санитар, пичкавший нас аспирином и валерьяновыми каплями. Каких-либо еще средств у него не было.

8 декабря я сидел у себя в камере в полной апатии, вспоминая о том, как торжественно отмечался этот день в мои детские годы. Нет, дальше так продолжаться больше не должно. Может, это последний в моей жизни день рождения. А потом... Потом конец.

В 4 часа дня меня, как обычно, вызвали в здание НКВД. Несколько часов я простоял в темной камере, прислонившись к холодной стене. Моих товарищей одного за другим вызывали

наверх, на допрос. Дошла очередь и до меня. Я снова решил обратиться к комиссару с просьбой взять и просто пристрелить меня и поставить точку на моих муках. Я уже пару раз просил его об этом, причем не из чистого отчаяния, а из тактических соображений. Пусть знает, что ничего от меня все равно не добьется. Но на сей раз мое решение было вполне серьезным.

Но я не успел. Ко мне подошел дружелюбно настроенный следователь, улыбаясь во весь рот, театральным жестом похлопал меня по плечу и воскликнул:

– Поздравляю вас, поздравляю вас!

Потом вернулся за свой письменный стол, достал пачку сигарет и вложил мне в ладонь.

– Для вас сегодня очень важный день, самый настоящий праздник! – продолжал восторгаться он. – Начиная с сегодняшнего дня, вас больше не будут допрашивать. Мы убеждены в вашей невинности, и вы скоро, то есть дня через два-три, покинете эту тюрьму, и мы переведем вас в хороший лагерь. Там вы увидите дипломатов и генералов. Там будет хорошее питание и чай. Там у вас будет кровать, и за вами будет ухаживать русская медсестра. – При этих словах следователь многозначительно посмотрел на меня своими черными глазами. – Конечно, в случае, если вы заболите. И там вы будете оставаться до тех пор, пока Советское правительство не примет решение о вашей репатриации.

– Когда же оно примет?

Он в ответ пожал плечами.

– Это мне неизвестно. Следует какое-то время обождать, пока в Германии не установится демократическое и миролюбивое правительство. Тогда вас сразу освободят, и вы снова сможете вернуться к своей профессии и жить вместе с семьей.

С сожалением он вздернул плечи вверх.

– К сожалению, западные державы в своих оккупационных зонах мало что предпринимают для искоренения фашизма. Только в нашей зоне демократизация идет полным ходом, как полагается. До тех пор, пока угроза нацизма в Германии не будет устранена окончательно, советское правительство не пойдет на риск освободить всех пленных.

Потом дружелюбный следователь вышел в коридор и вызвал охранника.

– Ты сейчас же, – приказным тоном велел он ему, – пешком отведешь этого человека туда, где он находится. Ему ни к чему ждать завтрашнего дня, когда туда пойдет машина, потому что он измучен и требует покоя.

Охранник принялся что-то возражать. Мол, он подчиняется своему прямому начальнику, а тот запретил конвоировать пленных с наступлением темного времени суток. Транспортировать пленных в темное время суток положено только в закрытых автомобилях. Этот приказ не мог нарушить даже всемогущий комиссар. Даже ни один из генералов не смог бы ничего изменить, если только он не был начальником караула этого охранника. Только начальнику караула он подчинен и только его приказы выполняет.

Следователь явно не ожидал подобного оборота и отчаянно пытался сохранить лицо. Он довольно долго уговаривал охранника, и, надо сказать, его льстивые ухищрения одержали верх. «Важная персона», «неотложное дело», и я даже услышал «особое распоряжение Москвы». Охранник долгим и пристальным взглядом посмотрел на меня. Ему не составило труда определить, что мое тогдашнее состояние не позволяло и думать ни о каком побеге.

И в тот вечер судьба смиростивилась надо мной. Точнее будет сказать, я подумал, что отмечу это благое известие крепким сном.

«Малая тюрьма»

Голод и тяготы были забыты, когда я на следующее утро рассказал своему японскому товарищу о свалившемся на мою голову счастье. Больше не будет этих пыток допросами – уже одно это означало для меня чуть ли не все на свете. Если лагерное бытие и было всего лишь эрзацем свободы, то даже за колючей проволокой – так мы считали – можно было хоть передвигаться более-менее свободно. Эта невыносимая скученность, теснота камер, это вынужденное безделье, эти жуткие мысли, это ощущение отторжения от общества людей должны когда-то закончиться.

Солнце и воздух снова станут моим достоянием. И не будет больше нужды месяцами с утра до вечера созерцать пять-шесть одних и тех же лиц, не исключено, что среди большего числа людей можно будет и с кем-то сдружиться. Сколько же нового враз рухнет на мою голову после всех этих месяцев изоляции, подействовавших на меня так, будто мировая история замерла на месте. Не нужно больше будет с миской в руке подходить к двери камеры для получения порции похлебки. И поход в лагерную столовую будет восприниматься как выход в роскошный ресторан на банкет.

В лагере будет вдоволь и табака, так, по крайней мере, обещал комиссар – 5 граммов в день. А махорки целых 10 граммов, если вместо табака предпочесть ее. С нехваткой табака можно будет распрощаться. А нехватка табака изматывала. Бывали моменты, когда только курение уберегало от нервного срыва.

Вот такие мысли одолевали меня, когда я беседовал со своими сокамерниками. Они считали, что меня отправят в лагерь в Новосибирске, куда, по слухам, отправляли японских и китайских генералов. Я воспринимал их искренние, но грустные пожелания всего хорошего с умеренной радостью. Им-то еще гудеть и гудеть в этом аду подвалов НКВД, и никто не мог знать, чем для них это кончится.

На какое-то время даже изматывавшие меня раздумья о семье и те отступили на задний план. Собственный успех или везение прибавили мне сил, вселили надежду, что и с моими близкими все будет хорошо. Возможно, уже через несколько недель или пусть даже месяцев меня освободят и отправят на родину, и я не видел причин, почему бы русским не отпустить на волю и мою семью. Пару недель продержаться – это был свет в конце тоннеля, первый утренний луч нового дня.

На третий после знаменательного последнего допроса день меня «с вещами» вывели из камеры. Час настал. Недолгое прощание с товарищами по несчастью, и я уже на улице под конвоем, меня ведут по улицам города, но, к моему великому изумлению, к «малой тюрьме», где мне все уже до боли знакомо.

Может, просто временная остановка, мелькнуло у меня в голове. Может, именно сюда пришлют за мной транспорт? Или, возможно, еще один прощальный допрос? Да, но тогда почему «с вещами»?

Вскоре эти опасения оказались беспочвенными, потому что меня не заперли в одной из темных камер, в которых я провел столько часов до и после допросов, а в помещении с нарами и светом, в котором уже пребывали четверо человек.

Это были русские эмигранты, которые какое-то время пребывали здесь. Двое из них, как выяснилось, русские полицейские из Дайрена, которых я знал несколько лет. Низкорослые, коренастые, когда-то упитанные. Сейчас об этом можно было догадаться по глубоким складкам, прорезавшим искаженные страхом лица. Третий сокамерник был торговцем меховыми изделиями из Мудандзяна, маньчжурского провинциального города. Его звали Константин Николаевич. Его богатырское телосложение придавало ему сходство с настоящим сибиряком. Худощавой породы, с ранней юности охотник в необозримых лесах Сянгана, он пережил

все невзгоды последнего времени без особых проблем. Когда он с ружьем в руках, рюкзаком и примитивным спальным мешком отправлялся в лесную чащобу месяцами выслеживать следы маньчжурского тигра, вряд ли его жизненные условия сильно отличались в лучшую сторону от нынешних. Кисет его всегда был полон махорки. Жена изыскала возможность прислать ему теплое зимнее пальто и большой пакет махорки. И еще одно сокровище получил он – пластину плиточного чая.

Плиточный чай издавна был неотъемлемой частью снаряжения любого сибиряка-охотника. Изготавливали его китайцы. Перемолов листочки в тонкий порошок, они спрессовывали их в плитки. И эти плитки в больших количествах направлялись в Сибирь. Если русский охотник без особого труда мог переносить все тяготы пребывания в тайге, то вот без плиточного чая он обойтись никак не мог. Тем более что гораздо удобнее брать с собой чай в плитках. Отрежешь ножичком небольшой кусочек или просто отобьешь его о камень, и вот целая кружка горячего ароматного напитка! В Советской России ввоз плиточного чая запрещался. Но в Маньчжурии его иногда можно было найти. Константин Николаевич понимал, какой драгоценностью владел.

Кто в течение четырех месяцев пил один лишь пустой кипяток, способен оценить изумительный вкус чая. Когда этот торговец мехом по имени Константин Николаевич впервые предложил мне кружку плиточного чая, мне показалось, что я воистину вкусил нектар богов. Эта «кружка» представляла собой проржавевшую консервную банку из-под «Оскар Майер», одного из продуктов, получаемых по ленд-лизу из США во время войны. Но в «малой тюрьме» она служила универсальной емкостью для табака, еды и питья, а по утрам из нее даже умывались. При известной экономии плитки чая хватило бы на месяц для нескольких человек. Мне не нравилось и раздражало постоянное присутствие двух вечно недоверчивых полицейских, но я успокаивал себя одной мыслью: мне предстоит чай, дарованный Константином Николаевичем.

Четвертым моим сокамерником оказался руководитель местного эмигрантского бюро одной из провинций Маньчжурии. Он великолепно говорил по-английски и по части интеллекта не знал себе равных среди всех нас в этой камере. Двадцать лет он проработал в Шанхае в системе российской эмиграции. Лишь летом этого воистину катастрофического для многих 1945 года он приехал в Маньчжурию руководить небольшим бюро эмигрантской службы. Нападение русских застало его врасплох, и вовремя уехать он не смог.

Подергивая бороденку, этот человек клял во все тяжкие досадное стечение обстоятельств, из-за которого он оказался в нынешнем отчаянном положении. Потому что ни один из тысяч отправляемых в Россию эмигрантов понятия не имел, что ему предстоит провести остаток жизни в рабстве и нужде.

Этот человек из Шанхая всю жизнь прожил в строгих границах западной культуры. И для него эти границы не были пустым звуком. Но он понимал и то, что здесь они переставали существовать. В интеллектуальном смысле он был человеком стойким и убежденным. В большинстве своем заключенные, повинувшись инстинкту самосохранения, о многом забывали, а этот человек предпочитал действовать. Он как мог саботировал правила, насаждаемые русскими в этих застенках.

Едва переступив порог камеры, этот человек подверг меня настоящему допросу. Я без прикрас описал ему свою одиссею и чистосердечно признался, что настроен на депортацию в Германию и готов предпринять все, что в моих силах, лишь бы довести до понимания тех, от кого зависела моя участь, свои намерения.

Человек из Шанхая, выслушав это, искренне рассмеялся. – Ты? Домой на родину? Ты просто не знаешь большевиков. Тебе грозит как минимум пятнадцать лет.

– С какой стати? – отважился я спросить. – Я никаких преступлений не совершал, русские сами в этом смысле со мной согласны. У них нет никаких прав удерживать меня здесь.

– Прав? – чуть ли не взревел шанхаец. – Что для моих земляков означает такое слово, как «право»? Ты просто еще не освоил эту нехитрую науку, но ничего, у тебя будет достаточно времени ее освоить. Мы тоже против них никаких преступлений не совершали. Но мы понимаем, что нам свободы больше не видать. Думаешь, тебе должно быть легче?

Я промолчал. Не было смысла продолжать этот разговор. Лучше уж просто молчать и не говорить ни слова. Моих сокамерников явно задело, что я претендую на лучшую участь. Лишь торговец мехом сохранил некоторое снисхождение, угостил меня щепоткой махры и заявил:

– Желаю тебе однажды добиться того, о чем мечтаешь. – И едва слышно добавил: – После Маньчжурии пути назад уже нет. Но как только я окажусь в лагере, сбегу. Сбегу в тайгу. А там им меня уже не отыскать.

Мы долго сидели молча, погруженные в свои мысли. Потом одного из двух служащих полиции «с вещами» потребовали на выход из камеры. На выходе он трясся как осиновый лист.

– Его сейчас будут судить! – объявил Константин Николаевич. – Допросы для него закончены, дело передано прокурору. И теперь, как говорится, он «созрел для приговора». Теперь он уже сюда не вернется. Осужденных помещают в одиночные камеры, чтобы не было возможности рассказать другим заключенным о ходе процесса.

Поскольку эта тюрьма состояла примерно из двух десятков камер, двери которых выходили в один и тот же коридор, все звуки были достаточно хорошо слышны – кто покидал тюрьму, кого привозили назад и в какую камеру помещали. Русские были взволнованы до предела. Побледнев, молча, они вслушивались в происходящее в коридоре. Часа через два до нас донеслись шаги, потом звук открываемой и закрываемой двери камеры. И тут же нечеловеческий вопль. Вопил, без всякого сомнения, наш бывший сокамерник – полицейский.

– Пятнадцать лет! – вопил он. – Пятнадцать лет! – повторял он без конца. – Несчастный я человек! Я столько просто не выдержу! О, мама, мама, помоги мне!

Мои товарищи сидели молча. На лицах их был написан ужас. Они даже не шевелились, иногда обменивались многозначительными взглядами. Они думали не о нем, они думали о себе и о том, что вскоре очередь дойдет и до них.

– Абсурд! – в конце концов произнес шанхаец. – И чего меня понесло неизвестно куда из этого удобного надежного Шанхая! А теперь все, теперь точно все!

Остававшегося в камере полицейского трясло. Он пытался свернуть самокрутку. Ничего не получалось. Пришлось Константину Николаевичу помочь ему.

– Уйду в тайгу! – повторял и повторял он при этом.

Видимо, эти слова служили для него чем-то вроде молитвы, помогали обрести внутреннее равновесие.

У меня в голове снова зазвучали слова шанхайца.

– Ты тоже отхватишь пятнадцать лет.

Но я отказывался даже думать о чем-либо подобном. Я уцепился за обещания комиссара. За что только ни готов уцепиться тот, кого судьба швыряет по волнам. Всего неделю назад я был готов свести счеты с жизнью, к отказу от всего на свете. С тех пор как меня перестали вызывать на допросы, я стал отчаянно надеяться на то, что снова заживу настоящей жизнью. Я понял, что утратил свое прежнее оружие – отказ от всего. И снова затосковал, как затосковали мои сидящие молча сокамерники.

«„Через день-другой вы окончательно покинете тюрьму, вас перевезут в хороший лагерь“, – заверял меня комиссар. С чего бы это мне ему не поверить? Неужели эти люди все на свете знают лучше? Может, в них просто разыгралась злость из-за того, что их перспективы несравнимо хуже?»

Подобными размышлениями я отчаянно старался избавиться от беспокойства. Но я всю ночь слышал стоны и вскрики моих сокамерников. Разве выспишься в таких условиях?

Следующий день начался с одного весьма неприятного сюрприза. В семь утра раздавали хлебную пайку, тогда по 450 граммов. Кто-нибудь из сокамерников принимал всю пайку, а потом делил. Этим занимался шанхаец. Едва охранник захлопнул окошечко и уже направился к двери следующей камеры, шанхаец раздал пайки всем, кроме меня. Моя пайка перекочевала в его мешочек.

– Ты мне не выдал пайку, – напомнил ему я.

– Твою пайку? – Шанхаец насмешливо взглянул на меня. – Ты уже получил свой хлеб. Может, двойную пайку захотелось?

– Но ты ведь мне ничего не выдал! – возмутился я. – И к себе в сумку сунул две пайки!

Шанхаец вплотную приблизился ко мне.

– Ты сейчас пытаешься заполучить лишнюю пайку и при этом обвиняешь меня. Дурачок ты, не был бы дурачком, не поднимал бы шума. Через пару дней хочешь ехать домой. На кой черт тебе столько хлеба? Дома отожрешься и пирожных, и чего угодно.

Я беспомощно взглянул на Константина Николаевича. Тот был занят разрезанием длинной проволокой пайки на части и всячески делал вид, что не слышит нашей перебранки.

– Но ты же сам видел, что я не получил хлеб, – обратился я к нему.

Константин Николаевич пожал плечами.

– Я вообще ничего не видел, – ответил он. Потом посмотрел на меня очень долгим и странным взглядом и подвинул ко мне свою пайку. – Вот, забирай. И молчи! Так будет лучше!

Я почувствовал, как мне к голове приливает кровь. Многое происходило, с чем я был готов смириться, но это было уже чересчур! Я вскочил и принялся барабанить в дверь, вызывая охранника.

Шанхаец спокойно уселся на свое место, как будто ничего и не было.

Я уже чуть ли не до крови разбил кулак о дверь камеры. Наконец появился охранник и открыл окошечко. Он еще не закончил раздавать хлеб, а я ему помешал.

– Что надо? – прорычал он в окошечко.

Я попытался с помощью своих убогих знаний русского объяснить ему, в чем дело. Но поскольку этот нетерпеливый охранник почти ничего не понял из моих объяснений, он позвал шанхайца и потребовал объяснить, как все было. Тот, разумеется, принялся все отрицать.

– О чем тут рассуждать? – обратился он к охраннику. – Этот немец просто так проголодался, что, едва получив свою пайку, тут же ее уплел, и ему захотелось получить еще одну. Вот он и утверждает, что я присвоил его хлеб. – И брезгливым жестом указал на меня. – Это еще тот склочник и обманщик. С такими нечего и водиться.

Я принялся энергично протестовать. Но охранник так рявкнул на меня, что я понял, лучше держать язык за зубами, иначе он примет другие меры. С громким щелчком окошечко захлопнулось.

И я сидел голодный как волк, видя, как мои сокамерники расправляются со своими пайками. Такие, значит, порядки в русских тюрьмах, думал я, и мне еще не раз предстоит с ними столкнуться, если судьбе будет угодно бросить меня в подобный ад. Но завтра-послезавтра я уберусь из этого места, и меня отправят в лагерь для военнопленных. Хотелось думать, что среди немцев и японцев подобные безобразия не практикуются. Даже в самых безвыходных положениях.

Таким образом, этот день мне пришлось «поститься». Не совсем, разумеется, – на обед выдавали рыбный суп, а на ужин, как обычно, пшеничный. И все! Я с тревогой размышлял об утре следующего дня. Как я поступлю тогда?

Но все мои тревоги оказались напрасными. Меня из камеры не вызвали для того, чтобы направить в обещанный лагерь, зато шанхайца повели на суд. Как днем ранее полицейского. Отчаянно бранясь и рассыпая оскорбления в адрес лжецов, он нас покинул. Когда его час спустя заперли в одной из одиночек, он кричал во всю глотку так, чтобы остальные слышали:

– Двенадцати лет стоила мне шутка, которую я однажды отпустил.

Больше мы о нем ничего не слышали. Слез скорби о нем не проливали, куда сильнее сочувствовали вчерашнему полицейскому.

В камере стало спокойнее. Константин Николаевич был вполне приемлем как сокамерник, а оставшийся полицейский решил придерживаться мнения большинства. Правда, пока шанхаец пребывал в нашей камере, этот полицейский был его самым преданным служакой. Теперь же признался мне, что всегда считал шанхайца дурным человеком и хотел даже вступить за меня, да решимости не хватило.

Константин Николаевич развлекал нас рассказами об охоте в необозримых лесах Маньчжурии. О том, как он месяцами ходил по тайге, питаясь исключительно дарами природы, грибами, ягодами, кореньями, и как однажды пристрелил тигра. Это было самое значимое событие его охотничьего периода. Потому что маньчжурские тигры считаются очень большой редкостью и, даже обнаружив их след, нелегко по нему выйти на хищника. Но Константину Николаевичу это удалось, и даже сейчас он наслаждался этим событием. Потом он снова вернулся к своему плану сбежать в тайгу, как только окажется в лагере. И если лагерь окажется в лесу, то шансы Константина Николаевича будут весьма велики. Он просто исчезнет. Не вернется с работы. Тайга – его друг и приятель, и ни одной живой душе его там не отыскать даже пару часов спустя после его исчезновения. Единственная сложность – миновать пост охраны, то есть просто убить часового, чтобы завладеть его оружием и боеприпасами. Но, насколько я понимал, это не составляло для него труда.

Вот если его загонят в лагерь куда-нибудь на Крайний Север, ситуация осложнится. В тундре ведь, кроме ягод, никакого пропитания нет, и охотятся там на разную мелочь – на песцов и им подобных тварей. В тундре нет деревьев, следовательно, отсутствует возможность укрыться, а зимы в тех краях такие, что ничего не стоит просто замерзнуть и погибнуть. Но этот человек свято верил, что справится с описанными трудностями, если вынудит отчаяние. Реки Сибири богаты различной рыбой. Так что в летний период проблем с пропитанием не будет. А к зиме он надеется добраться до спасительной тайги.

Жить в тайге, как рассчитывал Константин Николаевич, может быть, придется не один год в ожидании, когда в стране воцарится более благоприятная политическая обстановка. Тогда можно будет подумать и о возвращении в Маньчжурию. Там его ждут жена и пятеро маленьких детей. Как он с ними со всеми будет переживать тяжелые времена, Константин Николаевич понятия не имел. И это его здорово беспокоило. Пару раз он признавался: «Мне иногда кажется, что я слышу, как детки мои просят у меня хлеба». Другой раз он пробудился среди ночи и крикнул: «Слышишь? Жена меня зовет! Я ей срочно нужен». Потом на него накатила волна гнева. Он вскочил, бросился к двери камеры и в кровь разбил руки о железные полосы. «Откройте! Откройте!» – вопил он, и все мы с великим трудом успокоили его. Начальника охраны подобные сцены не волновали. Они были здесь повседневностью. Все, в конце концов, доходило до того, что начинали молотить в двери камер. И сцены эти заканчивались сами собой без вмешательства извне. И всегда одно и то же: проклятия, угрозы, оскорбления. Некоторые звали матерей. Другие пытались убедить в своей невинности. Никто их не слушал и не слышал, разве что новички, на которых эти срывы действовали подобно заразной болезни. А комиссары потом собирали богатый урожай. Массовый психоз уничтожал тягу к сопротивлению. Сейчас на очереди был наш полицейский. Когда очередного приговоренного запирали в одиночке, он часами рыдал и жаловался на немилосердную судьбу, но мог и вскочить, броситься к двери камеры и криком требовать прислать к нему комиссара. Или рвался к нему на допрос. Но тут появлялся охранник. Требование вызвать комиссара было, пожалуй, единственное, на что охрана реагировала незамедлительно. Вернувшись, полицейский рассказал нам: он подписал все, что ему подсунул комиссар. Бумаги эти – сплошная ложь, вымысел, но

он просто больше не мог выдержать. Лучше уж приговор и потом более свободная лагерная жизнь, чем здесь переживать нервный шок по десять раз на день.

Два дня спустя очередь дошла до прокурора, еще через два дня его судили – 15 лет принудительных работ. Да, он не ошибся.

– Меня они не согнут, – уверял меня Константин Николаевич, вернувшись с последнего допроса. Он, по его словам, готов лучше встать к стенке, чем признаться в несуществующей вине. Два дня спустя его вызвали на суд. После суда он оказался в одиночке. И ни звука не произнес.

– Константин Николаевич, это ты? Ты здесь? – кричал я ему.

– Да. Я здесь! – последовал ответ. – Шесть лет и после поселение в спецрайоне! Будь мужественным, друг мой, – обратился он ко мне, – не позволяй обвести себя вокруг пальца! Всего тебе хорошего! Ты знаешь, где отыскать меня потом!

Это были последние слова, слышанные мною из уст Константина Николаевича.

Я остался в камере в одиночестве. Одиночество и страдание – плохие лекари. Но и совместное проживание с сокамерниками может стать ядом. Так что, лучше уж одному. Да и потом, вполне возможно, что завтра ко мне подсадят новых жертв. И почему вообще я здесь? Куда подевались заверения комиссара?

Миновало четырнадцать дней с тех пор, как меня посадили в эту камеру. И до сих пор никаких признаков отправки в лагерь. Я уже думал отпраздновать в лагере Рождество, без елки и подарков, конечно, но зато в людском окружении, глядя на звездное небо.

Но Рождество приближалось, а я все еще оставался в застенке, одинокий и никому не нужный. Я отказывался верить, что моя участь снова резко повернула на худшее.

Обо мне, несомненно, забыли. Распоряжение комиссара где-то затерялось или же произошла еще одна транспортная задержка, поскольку другие заключенные, которым был положен транспорт, еще не были освобождены. Но мне совершенно не хотелось, чтобы меня забыли в этих застенках, из которых я вышел бы только на тот свет. Поэтому я потребовал встречи с начальником тюрьмы, и, к моему великому удивлению, уже на следующий день встреча эта состоялась. Я изложил свое положение, а начальник тюрьмы проявил ко мне чисто человеческий интерес и даже участие. Когда он спросил у меня фамилию моего комиссара, к которому ему ничего не стоило обратиться за разъяснениями, я не мог ее назвать. Мне так и не удалось узнать ее. Но не важно! Начальник тюрьмы мог сам ее выяснить и войти в курс дела.

Два дня спустя меня снова привели к нему. Он с великим сожалением вынужден был мне сообщить, что комиссар, занимавшийся моим делом, здесь уже больше не работает. Еще до Рождества он отправился в Москву и до сих пор не вернулся. И относительно моей дальнейшей судьбы начальник тюрьмы не мог сказать ничего внятного. Мне оставалось ждать нового указания. Обо мне, разумеется, никто не забыл, откровенно и, пожалуй, даже с оттенком недовольства заявил он. «В России никогда и ни о чем не забывают!» С этими словами он распорядился отвести меня в мою камеру.

И там у меня было достаточно времени – я остался в одиночестве – для того, чтобы серьезно заняться собой. Как я только не пытался побороть время. Сначала соорудил что-то вроде солнечных часов. Потому что, когда часы и даже минуты тянутся еле-еле, хочется десяток раз взглянуть на часы. Утренние часы ежедневно сообщали мне фабричные гудки. В шесть вечера, может, в половине седьмого это повторялось, а в семь часов происходило уже в третий раз за день. В восемь вечера где-то вдалеке завывала сирена. И после до самого следующего дня никаких сигналов о смене времени не поступало. И в четыре, и в пять, и в шесть вечера звуки сирен действовали на меня благотворно. Но между восемь утра и полуднем, а потом с часу дня и до четырех я был настроен на несколько другую информацию.

Через окошечко, пропускавшее ко мне в камеру немного света, я видел напротив тюрьмы здание, потолочные балки которого до полудня отбрасывали тень на стену. Вскоре я просле-

дил путь тени с восьми утра до полудня и убедился, что смогу определять время каждые четверть часа. Когда тень добиралась до определенного места, раздавался полуденный вой сирены. И тогда я слышал, как наш пунктуальный тюремный повар начинал бряцать алюминиевыми суповыми мисками.

После часа дня мои солнечные часы оказывались в тени. Зато солнце отбрасывало замечательный луч, пусть даже и тонкий, прямо ко мне в камеру. Луч этот неторопливо шествовал по стене, и уже несколько дней спустя я горелой спичкой, подобранной мной во время тюремных ежедневных пятнадцатиминутных прогулок, имел возможность отмечать временные промежутки на стене. Когда мне удалось найти еще спички, во мне пробудилось желание творчества, и я даже стал рисовать на стене, служившей мне холстом. Я вознамерился оставить след о себе и проведенных в этих стенах худших минутах жизни. По мотивам астрологических изображений Альбертуса Магнуса, Иоганна Кеплера и Нострадамуса я запомнил приписываемое планетам значение. Появился Юпитер – счастливая звезда, придававшая моей жизни осмысленность и радость. Красовался и приносивший беды Сатурн, постоянно покушавшийся на радость жизни и утаскивавший меня в самые глубины людских страданий. Противостояние Сатурна и Юпитера, вероятно, точнее всего характеризовало мое тогдашнее положение. Возможно, когда-то камера эта будет пристанищем любителей астрологии. Станет посылом для астролога, по милости фортуны покорившего высоты счастья и почитания и по милости все той же не знающей снисхождения фортуны низринутого на самое дно человеческого унижения.

Имелось в достатке способов не позволить возобладать над душой тоске одиночества. Как раз тогда я открыл для себя, что одиночество не имеет ничего общего со скукой. Только этот постоянный голод на самом деле труднопреодолим, поскольку средство отвлечения от него отыскать очень нелегко. Каждое утро, получая ежедневную пайку хлеба, я давал слово растянуть ее на весь день. Но стоило мне прилечь днем или вечером, как рука моя механически тянулась к хлебному мешочку. Каждый раз та же картина: достать хлеб с твердым намерением отломить лишь кусочек, а потом снова положить в мешочек, чтобы вскоре снова повторить манипуляцию, и так далее. И если мне, таким образом, удавалось уберечь хоть крохотную часть хлеба до обеда, то это стоило воистину невероятных усилий, пожиравших все мои силы. В конце концов я понял, что существует один-единственный способ: съесть сразу все. И это сработало. Хоть раз в день, но я ощущал, что желудок мой не пуст. И голод изнурял меня уже не так, когда я точно знал, что утолить его мне просто нечем.

Справедливости ради я должен здесь упомянуть и о щедрости своих хозяев, не ограничивавшейся 450 граммами. Бывали дни, когда мне доставалась столовая ложка сахарного песка. Три раза в неделю я съедал кусочек соленой рыбы, около 30 граммов. Съедалась эта рыба с хрящами, костями и шкурой, а от своих прежних сокамерников я узнал, что и рыбы головы могут быть изумительны на вкус. Жуешь себе, жуешь до тех пор, пока все не превращается в кашу, – кстати, прекрасный способ достаточно надолго подавить чувство голода. Не съедаются одни только жабры. Японцы твердят, что истинный деликатес – рыбы глаза, и, должен признаться, пришлось с ними согласиться. Если тебе достается рыба голова, многие считают это везением – по весу голова больше других паек.

К нашему скудному завтраку дают и кипяток. Каждое утро я сталкивался с проблемой, бросать ли в кипяток сахар, подсластить его или же просто умять с хлебом. Хлеб и сахар ценились в тюрьме выше всего.

Полдень, ровно двенадцать. Суп из рыбных консервов. Нам положено 750 граммов этой незамысловатой еды. По вечерам снова суп. Сколько пшена и рыбы положено для супа, определялось администрацией тюрьмы. В отличие от многих других тюрем, где большая часть продуктов разворовывалась, в «малой тюрьме», к чести ее начальника будет сказано, заключенные получали все, что полагалось. Начальник тюрьмы, сержант, неподкупность и справедливость которого была притчей во языцех, являл собой резкий контраст с порядками, царившими в

других местах заключения, не ленился ежедневно лично принимать на складе все полагавшееся нам продовольствие. С дотошностью он следил и за тем, чтобы продукты соответствующим образом обрабатывались, и постоянно находился около котла, где варился суп. И охранникам он не давал спуска, а иногда и сам участвовал в раздаче пищи. Сержант был еще очень молод и являлся членом коммунистической партии. По всей вероятности, он многое познал в своих партийных школах. Он отличался искренней преданностью делу партии, был убежденным коммунистом и членство в партии не использовал в карьерных целях или в целях личного обогащения. Несмотря на строжайшее соблюдение служебных предписаний, сержант как мог старался облегчить участь заключенных. Он понимал нас буквально во всем, хоть и не разделял наши воззрения. И немедленно принимал меры против всякого произвола служащих и подчиненных. Полагающуюся ему махорку он раздавал заключенным, причем при условии строжайшего соблюдения равенства порций, без учета конкретных лиц, подхалимы его благосклонностью не пользовались, а таковых было достаточно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.